

Annotation

www.6lib.ru – Электронная Библиотека. Книга: Буцефал. (Герман Юрий)

- [БУЦЕФАЛnote 1](#)
 - [1](#)
 - [notes](#)
 - [Note 1](#)
-

БУЦЕФАЛ [note 1](#)

Чистый, добропорядочный Дерпт, крошечная, но благоустроенная клиника на двадцать кроватей, порядочнейший и почтеннейший Мойер – все это осталось позади, и об этом не следовало больше ни думать, ни вспоминать. Что было, то сплыло, и, черт его подери, думать – только растревлять себя. Обо всем том надобно забыть, как о сладком и милом сне, все то надобно исключить, отбросить, вышвырнуть вон. Ничего не было и ничего нет, кроме шайки черниговцев, кроме воровства и лихоимства, кроме денного грабежа, кроме лихих госпитальных разбойничков и кроме того, что он нынче купил в Гостином.

Кстати, где покупка?

Усталыми шагами он походил по полупустым комнатам еще необжитой, пахнувшей известкой и рогожами квартиры. Все стояло на своих местах, и все имело холостяцкий, неуютный вид. Впрочем, нет штор, может быть, они спасут дело.

В прихожей на грязном некрашеном сундуке спал животом вниз Прохор. Гитара валялась на полу. Возле гитары сидел чужой облезлый кот с драным ухом и поглядывал по сторонам с враждебной небрежностью.

Тут же на полу возле вешалки валялась покупка, выпала, наверное, из кармана шинели, когда он раздевался.

Неужели придется действовать ею?

Неужели нет иного выхода?

На мгновение ему стало грустно, но он пересилил себя, поднял нагайку с пола, натянул сыромятный ремешок на запястье, косо опяделся и, выбрав для упражнений собственную шинель, рубанул по воздуху с оттяжкой, как рубят саблей. С въедливым свистом нагайка перепоясала шинель. В ту же секунду чужой драный кот, издав шипяще-мяукающий звук, перемахнул прихожую и скрылся в коридоре. Прохор встал на четвереньки и замотал сонной головой. Потом увидел Пирогова с казачьей нагайкой на руке и замер.

– Кот тут напугался, – сказал Пирогов, – думал, это я для него нагайку припас, а это я для людей.

Теперь Прохор уже сидел на своем сундуке: приятное пробуждение, нечего сказать; ему казалось, что Пирогов намекает и грозитя.

– Да и не для тебя это, – с досадой и скукой в голосе промолвил Пирогов и отворотился. – Иди, погрей ужинать, я есть хочу. И руки вымой, глядеть противно...

Пощелкивая по стене нагайкою, он возвратился в комнаты и еще походил без цели от окна к окну, поглядел на смутные очертания домов белой ночью. Все сделалось совсем отвратительно: этот рабий страх в выражении Прохора при виде нагайки. Нагайки боится, а таскает из кармана шинели медяки и при этом врет, что «сами-с потеряли, а я виноват». Вот так и надо ходить с нагайкой по улицам, по квартире, по клиникам, по аудиториям. Мало ли кто да почему вор и подлец. У всякого подлеца есть для подлостей свои причины: один – из страха, другой – из почтения, третий старается для сирот. Нет-с, благодарим, предостаточно!

Он сел в кресла и сощурился на огонек свечи все с той же нагайкой в руке. Надо бы подумать, да времени нет, надо бы почитать, да нечего – господа академики сочиняют сочинения через пень колоду, надо бы письма написать, да о чем?

Рассеянным взглядом он скользнул по откинутой доске бюро, сплошь заваленной корреспонденциями, взял наугад письмо, сорвал печать и прочитал. Тоже нагайкой надо бить, иного выхода нет, иначе разум не вгонишь в эти головы!

Особая комиссия академии приглашает профессора Пирогова прибыть на заседание, имеющее быть по поводу слушания отчета профессора Груби о признании им машины иностранца Галлермана для скорого и успешного лечения заикающихся особ обоих полов.

Лечение заик машинами – это, конечно, то, что нравится господам черниговцам не в пример его реальному направлению, его эксперименту, его ненависти к любомудрию господ медиков из натурфилософской школы. Шваль! Щека его задергалась, он вскочил и вновь начал мерить кабинет шагами из угла в угол. Ничего, поглядим! Ежели государь по склонностям своего ума стал ярым приверженцем атомистической методы своего лейб-медика шарлатана, то ужели все государство должно лишиться реального направления в науке, кинуться в китайщину, в Азию, в мистические бредни, потерять то,

что такую кровью далось России при Петре? Ну, хорошо, ну, Ганеманн, ну, Бруссе. Допустим! Но ведь насчет живой силы – это же вздор, и вздор постыдный. Кто поверит, что в результате длительного растирания цинковой мази в ступке рождает мазь особую животворную силу, которая и есть лекарство, заключенное, как в скорлупе, в мази.

И этому учат в стенах Медико-хирургической академии, и как не учить, когда сам император приказал, и не только приказал, но и живейшим образом продолжает интересоваться ходом занятий, особо благоволит к мандтовским студентам, будущим атомистикам, покупает для их занятий вздорные машины, вроде электрообливательного шкафа, и сулит еще, что всех резак из русской армии разгонит и прикажет лечить солдат только атомистической медициной.

Посмотреть бы на ихний атомистический полевой госпиталь после хорошего сражения, как они там будут ковыряться!

Ах, да все это разве удивительно? Все это иначе и быть не может, а вот откуда такой подлец студент берется, вот что интересно. Откуда дальность такая в прицеле и точность? Ведь эта дюжина студентов, которых Мандт выбрал и которые к нему пошли без всякого сопротивления, что они думают? Ужели истинно веруют? Нет, вздор, ни в бога, ни в черта они не веруют, а почитают в особом смысле своего государя, в простейшем смысле почитают: государь – атомистик, ну, и мы станем атомистиками, все сытее проживем, на веселых ногах, сладко есть, мягко спать...

Опять передернуло щеку. Он швырнул нагайку на столик и закричал не своим голосом в коридор:

– Дашь ты мне ужинать, Прохор, или нет?

Ужин был отвратительный: пожарская котлета, пахнувшая соляной свечкой, соленый огурец, мятый и желтый, и еще какая-то дрянь в миске – все из кухмистерской. Тем не менее он съел все и выпил еще два стакана жидкого чаю, знаменитого прохоровского, пахнущего веником. Пока он ел и пил, Прохор стоял за его спиной, как настоящий лакей, помахивал салфеткой и вздыхал.

– Ну чего стоишь, мучитель? – сказал Пирогов. – Собирай со стола.

Проخور вздохнул еще, начал собирать и сразу же разбил две тарелки. Разбил, мрачно поглядел на черепки и промолвил:

– Оно к счастью, Николай Иванович.

Пирогов молчал, отворотившись к окну. Так он простоял долго, не меньше получаса. Потом оделся, велел Прохору не отлучаться и, сунув нагайку в карман, вышел из дому. Белая тихая майская ночь стояла над Петербургом. По зеленому небу плыли легкие рваные облака. С моря тянуло прохладным ветерком. На Неве, на баржах, горели костры, там мужики пьяными голосами тянули длинную и унылую песню, и было видно, как один мужик, длинный и голенастый, в широкой рубахе, один на своей барке, медленно, как привидение, вытанцовывал колена: выбросит ногу и замрет, присядет и замрет, взмахнет руками и застынет. За спиной мужика горел костер, и на темную воду Невы ложились от пляшущего длинные и нелепые тени.

Пирогов постоял, посмотрел. Тяжелая тоска все сильнее и сильнее давила его сердце. Куда идти? С кем говорить? Кому жаловаться? Кому он нужен со своими бреднями, с горячей своей головой, с тиком, с бессонницей, с нелепыми разговорами о науке?

Он оглянулся: мужик все еще плясал на барке – одинокий, горький и пьяный, в своей домотканой посконной рубахе без пояса, один-одинешенек среди каменных громад Петербурга, затерянный в огромном городе, дикий, пьяный...

Может быть, напиться, опьянеть и пойти к мужику на барку?

Но он не умел напиваться.

За всю свою жизнь он один только раз был немного навеселе еще в Дерпте у Мойеров, и то ночью его тошнило и, как ему казалось, он чуть не умер. Нет, он не настолько здоров, чтобы производить такие опыты с собою. А тоска – что ж! Она все равно никогда не пройдет, и есть от нее только одно спасение: работа. И работа не та, чтобы биться с черниговцами, или с ворами, или с мздоимцами и казнокрадами, а работа своя, потаенная, плавная, та работа, которую делал он бессонными ночами в Дерпте, и в Париже, и в Берлине – мучительный, непосильный сизифов труд, – искать и верить, что найдешь, но не находить, надеяться и ликовать, но разочаровываться, падать духом и вновь воскресать, и вновь рушиться, для того чтобы чувствовать себя ничтожным, неразумным, незнающим перед пыбою

неразгаданного, и постигать, разгадывать, наблюдать, и если не разгадать до конца, то хоть верить, что разгадаешь.

В юности он выдумывал правила для того, чтобы знать, как жить, и слепо им следовал до тех пор, пока сама жизнь не подсказывала ему новые, зачастую еще более суровые, чем те, которые он исповедовал раньше. До сих пор у него осталась эта манера. При въезде в Петербург, когда назначен он был в академию, его встретил председатель Петербургского Общества врачей и вручил ему билет почетного члена Общества – невиданная честь для тридцатилетнего ученого. Принимая билет из рук убеленного сединами председателя, он почувствовал вдруг в себе беса гордыни и тут же сложил для себя заповедь – очень жестокую при той силе характера, которой наградила его природа. Заповедь была о том, что не следует гордиться и радоваться в случаях вот такого успеха, что и чины, и ленты, и звезды – все это суета сует и всяческая суета, все это преходяще и все это никак, даже в самой малой мере, с истинным служением науке не связано, чему доказательство не только один Мандт, но и Шлегель, и Вилле, и многие другие славные сыны отечества, деятельность которых принесла России куда более вреда, нежели пользы.

Заповедь эта была куда как мучительна в выполнении, но он следовал ей с вечным своим железным упрямством, с той твердостью, которая приносила ему столько бед, и не отступал от этой заповеди ни на йоту: дипломы швырял в ящик бюро на съедение мышам. Адреса совал куда угодно, даже не прочитав их толком, Письменные благодарности больных, написанные в торжественно-слезливом тоне (чем я был и чем стал), не прочитывал и интересовался только смыслом: помогло или нет. Царские награды за научные работы без стыда и совести продавал тотчас же по получении академическому аптекарю, занимавшемуся еще и ростовщицеством. И продавал не потому, что так уж смертельно нужны были деньги, а только лишь по той причине, что как-то однажды, бессонной ночью, представил себе будущих потомков, которые через много лет в некоей зальце (он представил себе именно зальцу) рекомендуют вниманию гостей папенькины регалии, царские подарки, дипломы и свидетельства. Это видение показалось ему настолько отвратительным, что он тотчас же составил себе короткую заповедь – к аптекарю! – и неуклонно начал ей следовать.

Ни мода, – а на него вдруг сделалась в Петербурге страшная мода, – ни слава, которая росла с каждым днем и часом, ни деньги, которые сами шли к нему, ни премии за научные работы – ничто не могло поколебать этот характер. Все, что может сделать в России честный человек, говаривал он своим близким друзьям, это умереть не подлецом. Большого он о себе и не думал, а если вдруг ненароком и случилось ему подумать большее, то он жесточайшим образом расправлялся с собой тотчас, выставляя против себя свою же заповедь, направленную на подавление и уничтожение того, что он называл гадкою суетностью – главным врагом полезной человеческой деятельности.

Кто не бывал в Петербурге белою майскою ночью, тот и представить себе не может, как бы ему ни пересказывали, что за вид у гранитных набережных, у воды, у мостов под странно зеленеющим небом, с какою особенной гулкостью стучат башмаки по тротуарным каменным плитам над неподвижною гладью Невы, как спят облицованные финским мрамором дворцы, как едва-едва шелестит Летний сад молодою листвою за своей решеткой...

Все тихо, все спокойно.

Зеленое небо застыло над неподвижною водой.

И можно подумать, что теперь так будет всегда, что это такой особый сказочный мир, заснувшее царство с зеленым небом, с тонкою иплюю, темнеющею над крепостью, с гвардейцами в киверах, застывшими у дворца, с извозчиком, заснувшим на своей гитаре, со спящей его клячей, с мертвым блеском зеркальных стекол, за которыми не видно ни единого огня, – так должно было спать заколдованное царство в знаменитой сказке.

Но что это?

Вдруг как бы искра вспыхнула на штыке у гвардейца, вспыхнула и погасла, а в воздухе уже что-то заиграло, засветилось, заблестало.

Медленно он поднял кверху усталую голову и даже оторопел: по еще зеленому, но уже с золотом небу плыли белые, круглые, сливочные облака, такие аккуратные, что он на мгновение умилился.

Теперь с каждой секундой все менялось вокруг.

Шпиль, который только что темнел над Петропавловским собором, теперь разом весь засветился, засиял, заблестел и точно

зажег дома с этой стороны. Вот уже багрово-золотистым пламенем запылали окна особняков, вспыхнула медь на киверах заколдованных стражей, заиграли пламенем штыки и занялась дотоле холодная и неподвижная нельская вода.

Ночь кончилась, пришло время наступать утру, тому утру, которого все равно не поймет тот, кто не бывал в Петербурге майскою порою...

Это тоже было не так просто – этот Петербург с его белыми ночами, с его туманчиками, с его зимою, похожей на осень, и с осенью, похожей на сам Дантов ад...

Кроме того, он слишком устал. Теперь каждый день часами дергало щеку, часто рябило в глазах, кололо в боку. Снились дурные, тяжелые сны – кошмары, или он подолгу не мог уснуть, переворачивал горячие, то слишком мягкие, то слишком жесткие подушки, пил воду, недавно даже, против всех правил, ночью выкурил сигарку...

И сейчас, как все эти ночи, совсем не хотелось спать.

Он медленно шел над Невою и думал: что, если сегодня совсем не ложиться; погулять еще, потом отправиться в академию, привести в порядок записки, – кстати, они там в столе, – сделать визитации в госпитале, одним словом, постараться так устать, чтобы назавтра заснуть и проспять всю ночь до утра.

На ялике он повеселел. Это было истинное удовольствие – переехать на лодке в такой час через Неву. Яличник был знакомый, по имени Яшка, забияка, и хвастун, и враль, но из таких, которых слушаешь не без интереса. Загребая веслом, он соврал Пирогову два события – пожар с двумя жертвами, – будто до смерти сгорела старуха закладчица Фунтиха и ее кошка – обе в сундуке.

– Почему же в сундуке? – поинтересовался Пирогов.

– А там ейный капитал содержался, – сильно дернув носом, сообщил Яшка, – она, дурная старуха, возьми и заберись туда. Ну, и провалилась со второго этажа в первый.

– А кошка?

– Кошка – дело известное, за хозяйкой.

Второе происшествие была утопленница.

Пирогов выслушал рассказ про утопленницу молча. Тогда Яшка добавил, что утопленница из графинь. Пирогов опять промолчал.

Яшка рассердился и сказал:

– Самую вытащили, а ребеночек потоп.

– Какой еще ребеночек? – спросил, не выдержав, Пирогов.

– Известно какой, – грозно сказал Яшка, подтягивая лодку к берегу, – уж не свой. Краденый.

Привратник из солдат инвалидной команды спал в своей конуре. Ворота были раскрыты настежь. Слева из-за угла госпитальной оранжерейки доносились голоса людей, грохот падающих досок, грубая ругань.

Не торопясь Пирогов пошел к оранжерейке, обогнул ее и остановился в начале небольшого двора перед вещевым складом госпиталя, тяжелые, кованые ворота которого были распахнуты настежь. Перед воротами склада стояли две подводы, запряженные сытыми английскими першеронами рыжей масти. Одна подвода была доверху нагружена госпитальными гробами – Пирогов сразу узнал в них госпитальные по характерному лаку, которым они были покрыты. Другая же подвода только еще грузилась двумя мужиками в кафтанах, которые кидали гробы, как дрова, и при этом ругали друг друга и кричали на какого-то Конона, чтобы Конон работал исправнее и веселее.

Во всей этой деятельности не было бы ничего удивительного, не заметь Пирогов сразу же одной подробности, и вот какой: в то время когда мужики в кафтанах грузили гробы на подводы, Конон – надзиратель вещевого склада – таскал в склад из-за подвод сваленные там гробы, и таскал как-то странно – по два гроба сразу. Госпитальные гробы были тяжелые, Пирогов это знал хорошо, а Конон, которого Пирогов лечил от чирьев, особой силой не отличался, – и вдруг такой геркулес – таскает гробы как перышки...

Довольно долго Пирогов стоял не двигаясь в своей засаде – за грудой ящиков для земли, выброшенных садовником из оранжереи, – и глядел, стараясь разобраться в той загадочной картинке, которая была перед ним. Наконец стоять ему надоело, и он вышел из своего убежища. Мужики уже закрывали свою поклажу рогожами и стягивали веревками, а Конон все еще таскал гробы в склад. Теперь он их просто кидал, предварительно раскачав. И только тут Пирогов догадался, в чем дело.

До сих пор никем не замеченный, он спокойно подошел к тому из мужиков, который был повыше ростом, и негромко приказал ему скидывать поклажу назад. Мужик тяжело повернулся к Пирогову мохнатым лицом и отступил на шаг назад, второй мужик, поменьше и помоложе, сразу же повалился в ноги, а черный, цыганского вида Конон уронил гроб на землю и стал пятиться к своему складу.

Ни Конон, ни мужики не посмели ничего сказать. Неверными руками они втроем распутали веревки, сбросили рогожи и, опасливо поглядывая на Пирогова, принялись снимать гробы на землю.

Тяжелым взглядом косых глаз он следил за каждым их движением. Лицо его было бледно, он покусывал нижнюю губу и прохаживался – несколько шагов вперед, несколько назад.

– Теперь прочь отсюда, – сказал он, когда мужики кончили свое дело, – да живо убирайтесь...

Они не заставили себя упрашивать. Мохнатый одним движением вспрыгнул на подводу, закрутил над головой кнутом, и могучие першероны тотчас же понесли к воротам. Вторая подвода вылетела вслед за первой, и еще долго в свежем и тихом утреннем воздухе слышался грохот кованых колес по нижегородской мостовой.

Теперь Пирогов остался один на один с Кононом в пустом дворике среди гробов. Только сейчас он увидел, какое серое лицо у Конона и как все лицо его покрылось потом – отчего? От работы или от страха?

– Ваше превосходительство, – давящимся громким шепотом воскликнул он, – ваше превосходительство, отец-благодетель, не погубите...

И, рухнув на колени, пополз к Пирогову на коленях, упираясь одной рукой в сваленные гробы, а другую протягивая к нему и бормоча при этом слова о семье и малых детях, о том, что он век будет бога молить.

– Таскай гробы назад в кладовую! – дребезжащим голосом крикнул Пирогов.

И Конон стал таскать. Это продолжалось долго, очень долго. Все лицо, и рубаха на груди, и мундир на плечах Конона – все взмокло. Пирогов видел, как подгибаются его ноги, слышал, как он дышит. Пожалуй, он может помереть. И Пирогов крикнул опять своим дребезжащим голосом:

– Отдохни!

Конон не понял. Он глядел на Пирогова, как собака на хозяина, который хочет ее ударить.

– Отдыхай! – крикнул Пирогов.

– Слушаюсь, – одними губами сказал Конон.

– Сядь! – еще закричал Пирогов. – Сиди и дыши. Сдохнешь. О смерти надо думать, вор.

По мере того как он кричал, ему становилось легче. Он кричал долго и с наслаждением. Кричал, что все воры. Что он все знает. Что его не проведешь. Что он тоже стреляный воробей. Одним словом, кричал все то, что кричат вспыльчивые, честные и порядочные люди в таких случаях. И чем больше Пирогов кричал, тем яснее Конон видел, что профессор отходит и что теперь можно. Что именно можно, он еще толком не знал и ловил, готовился. А когда Пирогов закричал, что у него, у Конона, порок сердца, Конон понял, что «оно» тут, подождал для порядку и пошел жаловаться как раз на этот самый порок, который и довел его до нехороших дел. Пирогов чувствовал, что Конон хитрит ему и врет, но свою ненависть уже выкричал и сейчас испытывал только чувство отвращения, смешанного с жалостью, то чувство, которое вызывали в нем притворщики и лгуны.

– Ладно, – сказал он, стараясь не глядеть на Конона и не видеть его лживо-ласковых и испуганных глаз, – сложи все гробы и пойдешь со мной. И не торопись, а то...

Он не кончил фразу и отворотился. Ему вдруг захотелось ударить Конона в лицо.

– Теперь запири на замок, – произнес он, когда Конон кончил, – и иди за мной.

Замок был старинный, со звоном и с секретными пружинами, и было смешно видеть, как вор запирает такой замок.

Теперь Конон шел впереди, а Пирогов сзади, как конвойный при арестанте. Он вел его к себе в кабинет, чтобы там допросить как следует. Кабинет был при кафедре госпитальной хирургии, тихий большой кабинет, в который никто не входил. Тут можно было спокойно поговорить с Кононом, но Пирогов упустил из виду одно обстоятельство – то, что время раннее и сторожей еще не найти – все они спят по своим таинственным каморкам.

Поискав без всякого успеха ключ, он вновь вышел со своим арестантом во двор и, приказав ему сесть на кучу чурбаков, приступил к допросу. Все это ему уже порядком надоело, но раз начал, то уж следовало и кончить – допросить и разобраться в темных Кононовых делишках.

Конон же внезапно обнаглел и сказал, что обмен гробов он произвел действительно, но что обмен этот послужил только лишь к пользе госпитальной, потому что нынче гробов не хватает, и приходится порой хоронить покойников вовсе без гробов, а так все будут с гробами, разве что эти, смененные, маленько похуже.

– Перекрестись, – молвил Пирогов.

– Конон размашисто и истово перекрестился.

– Забожись, – велел Пирогов.

Конон начал длинно божиться, но Пирогов прервал его.

– Теперь я вижу, каков ты есть человек, – промолвил он.

Больше здесь на чурбаках разговаривать было невозможно. Академия просыпалась. Двое казеннокоштных студентов уже остановились поодаль, наблюдая за своим профессором. Прошли солдаты караульной роты с инвалидом-прапорщиком. Проковылял на своей деревяшке пьяница подлекарь и, завидев Пирогова в столь неурочный час, выпучил глаза.

– Пойдем, – опять приказал Пирогов и повел Конона в черную анатомию.

Чем ближе подходили они к подвалу, тем чаще оглядывался Конон на Пирогова. С недоумением заметил Пирогов, что цыганское Кононове лицо совсем вдруг позеленело.

Вошли в анатомию. Пирогов толкнул дверь своего кабинета, – она была заперта. Он кликнул сторожа. Никто не отозвался. Здесь было полутемно и сыро. Воня он не замечал – привык к ней.

– Ефимыч! – во второй раз крикнул Пирогов.

Никакого ответа.

Тогда он зажег спичку и отворил незапертую дверь в самую анатомию. Конон все еще стоял в сенях. При мигающем свете спички Пирогов разыскал на одном из трупов оставленную здесь с вечера сальную свечку, зажег ее и пристроил в подсвечник возле Тишки, как называли студенты наполовину отпрепарированного покойника, с осени прибывшего в анатомию.

– Иди сюда, – приказал Пирогов Конону, но тот не шел и молчал.

Ставни в полуподвале запирались по настоянию Шлегеля, который говорил, что вид изрезанных покойников в черной пироговской даже его выбивает из колеи, и потому тут и днем было совсем темно. От Тишкиной свечки Пирогов зажег еще одну, припрятанную студентами возле другого трупа, и теперь черная осветилась во всем своем безобразии. Конон все не шел.

– Да какого же ты черта! – осердившись, крикнул Пирогов. – Долго я тебя буду ждать?...

– Ваше превосходительство, – донеслось из сеней, – отец-благодетель...

Привыкнув к своей анатомии, Пирогов опять не понял, чего боится Конон, и отнес его страх к тому, что он, видно, ждет побоев в этой темной комнате.

Не буду я тебя колотить, – с раздражением и брезгливостью в голосе сказал он, – иди, негодяй, сюда...

Конон робко вошел, и смутная тень его шевельнулась в дверях анатомии. Пирогов велел ему подойти ближе.

– Увольте, – послышался сиплый ответ.

Сальные свечи наконец разгорелись. Теперь Пирогов отчетливо видел Конона, с ужасом поглядывающего по сторонам – на столы с трупами, на отпрепарированные части тел, лежащие в бадьях и ушатах, на Тишку, на Гордея Гордеевича и на прочих. Все существо Конона выражало ужас, да такой, которого, пожалуй, Пирогов в жизни не видел: втянутая в плечи голова, сжатые зубы, трясущиеся руки – все вместе представляло собою зрелище столь страшное и отвратительное, что Пирогову захотелось плюнуть. Теперь он понимал, чем можно в весьма короткий срок выпытать из Конона всю правду.

– Ты зачем у них гробы украл? – спросил он и сделал широкий жест, как бы приглашая Конона взглянуть на тех, у кого он украл гробы.

Но Конон приглашения не принял, а только еще сильнее втянул голову в плечи и весь съежился, чтобы занимать как можно меньше места.

«Сейчас все скажет, – между тем думал Пирогов, – это для него пострашнее дыбы или колеса».

– Кто тебя научил мертвецов обкрадывать? – спросил он. – Говори!

– Помилуйте, ваше...

– Говори сейчас же, – дребезжащим и оттого особенно страшным голосом крикнул Пирогов, – говори, негодяй, с кем ты в сговоре!...

Бог знает сколько времени продолжался бы этот допрос, не проснись в эту пору Ефимыч, солдат инвалидной команды и старший сторож черной анатомии. Проснувшись в своей клетушке и вылезши из-под шинели, глуховатый Ефимыч, как был в белье, пошел во двор, но по дороге заметил в анатомии свет и тихонько вошел за спиною Конона, чтобы поглядеть, кто такой казенные свечи жжет. Не заметив поначалу Пирогова, он, подкравшись к Конону, цапнул его за полу и закричал своим козлиным голосом:

– Ты что тут, лихой человек, делаешь? Ты что...

Но фразу свою Ефимыч не кончил. Увидев перед собой усатого покойника в саване, Конон слабо охнул и повалился на грязный пол черной анатомии, закатив глаза, и потерял сознание. Пирогов бросился к нему. Перепуганный Ефимыч, считавший себя тоже медиком, то прыскал Конону в лицо водой, то советовал пустить ему кровь, то длинно объяснял, почему он здесь появился, что есть-де такие самостоятельные из себя господа студенты, которые норовят в черную проскочить хоть утром, хоть ночью, хоть вечером, копаются в чужом покойнике, крошат его как хотят, а потом на него, на Ефимыча, жалобы.

Через несколько минут Конон пришел в себя, не без труда поднялся, сел на подставленную Ефимычем табуретку и, перекрестившись, повинился во всем. То, что он говорил, было так дико и невероятно, что Пирогов прежде всего услал вон Ефимыча, чтобы тот не разболтал до времени, и только тогда стал слушать все по порядку.

Главным воров был, по словам Конона, начальник военно-сухопутного госпиталя лекарь Лоссиевский, прямой начальник Пирогова в госпитале. Всем воровством в госпитале управлял он, и все барыши клал себе в карман тоже он, наделяя помощников от своих щедрот.

Госпитальные гробы он вот уже сколько лет сбывает на сторону, а взамен получает гробы из таких досок, что покойник почти никогда до

могилы не добирается, пару раз выпадет сквозь днище. Саваны его благородие тоже обменивает на рогожи. Но от этого от всего доходишко небольшой. Главный же доход, на котором господин Лоссиевский и строит дома, есть со списков.

– С каких списков? – не понял Пирогов.

Конон попил воды из кружечки, обтер ладонью рот, покосился на Тишку, который казался ему почему-то самым опасным из здешних покойников, и, слегка кивнув головою на столы с трупами, тихо, почти шепотом сказал:

– Они-с, ваше превосходительство, у нас еще кушают-с.

На секунду Пирогову показалось, что Конон рехнулся.

– Ты что, в своем ли уме? – спросил он.

– Кушают-с, кушают-с, – быстрым шепотом продолжал Конон, – великий грех, ваше превосходительство, но кушают-с и еще... винцо выпивают-с. По спискам то есть.

Он несколько раз мелко перекрестился, еще взглянул на Тишку и торопясь стал объяснять, как это все проделывает его высокоблагородие господин Лоссиевский: в тех списках, которые идут к смотрителю на выписку харчей, количество больных никогда не уменьшается. Никто не умирает, никто не выписывается. И все это проделать очень просто: надо только вести больным не поименные списки, а покроватные. Фамилий больных нет вовсе, а есть только номера кроватей. Иногда господин Лоссиевский забирает списки к себе в кабинет и там назначает слабые порции: кому вино – две бутылки, кому в постный день молоко, кому что. А эти слабые либо два года назад померли, либо выписались, либо и номера такого в заводе нет.

– Ловко, – почти с восхищением сказал Пирогов и вспомнил, как сам выписывал своим больным слабые порции на скорбных листах.

Конон объяснил, что эти порции никогда до солдат не доходят.

– Но ведь я-то спрашивал у них, ели они или не ели! – воскликнул Пирогов. – Не было же такого слова, чтобы не ели. Все ели, благодарим покорно.

– Эх, ваше превосходительство, – искренне и с жалостью в голосе сказал Конон, – разве ж вы не знаете, почем нонче ходит солдатское «благодарим покорно»? Я, что ль, вам расскажу?

И он стал говорить дальше о госпитальных делах, а Пирогов слушал его и молчал. Больше он ни о чем не спрашивал. Ну хорошо, в аптеку посылают фальшивые аптечные требования, лекарства потом покупает обратно со скидкой тот же аптекарь... солому в матрацах не меняют годами... продают, на прошлом месяце продали больничному подрядчику новых одеял две сотни штук, получили в обмен лохмотья, скоро их вынесут на свет божий, объявят траченными молью. Все то же.

Чем дальше он слушал, тем страшнее делалось ему: все разграбят, все растащат, все разворуют по своим берлогам, на пропитание своих животишек, для того чтобы сладко есть, мягко спать, ходить на веселых ногах. Не только на треклятой солдатской жизни, но и на болезни солдата, на самой смерти его измыслили способы тянуть, тащить и рвать. Наука. Основы. Натурфилософия. Конференция. Академики. А солдат на все про все рявкает «благодарим покорно» – вот где наука наук, вот где основа основ.

– Ладно, Конон, иди, – сказал он, не слушая больше, – иди, ты мне не нужен.

Конон взмолился о чем-то. Он смотрел на него равнодушными глазами, думая о своем. Так же не слушая, обещал. Только одного хотелось ему сейчас: помолчать.

Конон ушел. Совсем тихо сделалось в черной. Только свечи потрескивали, две свечи на столах, да мышь точила в подполье. Не отрываясь, смотрел он на Тишкину свечу; вот совсем она оплыла и наклонилась. Надо поправить. Шаркая подошвами башмаков, он подошел к столу, поправил свечу пальцами и задумался над тем, что студенты называли Тишкой. Хорошо, весело, привольно прожил Тишка свою жизнь. И печальная солдатская жизнь представилась его взору до той самой минуты, пока не попал Тишка в сухопутный. Вот и скорбный лист его, грязный и запачканный, с вписанными слабыми порциями. Он же и писал – Пирогов. Вина красного стакан. Кашу с чухонским маслом. Чаю сладкого сколько пожелает. Что ж, поел бы Тишка и каши с чухонским маслом, и чаю бы выпил с сахаром, не все же солдату хлебать баланду со снетками, да и винца бы пригубил. Тоже небось рявкнул: «Благодарим покорно, ваше превосходительство, много довольны...»

Да-с, благодарим покорно.

Много надо знать и многого надо хлебнуть, прежде чем поверить этому «благодарим покорно, много довольны». Не скоро скажет битый-перебитый, поротый-перепоротый истинную свою претензию, потому что, не ровен час, выпорют еще – недорого возьмут. Так уж лучше потихоньку да полегоньку, бочком да петушком, – они, верхние, главные, отцы-командиры, от малого унтера до самого царя, более всего любят, чтобы благодарили покорно и были много довольны. А уж как лихо, да бодро, да весело научился русский народ благодарить покорно, так и рвет, так и палит, точно из пушек; умирать будет, а уж из последних сил оторвет солдат попу:

– Благодарим покорно, много довольны вашей милостью.

Так и Тишка небось оторвал на смертном своем одре из перепрелой соломы, причастившись святых тайн, госпитальному попу, обжоре и распутнику:

– ...покорно... милостью.

И остался один отправляться в дальний путь из мозглой вонючей палаты, от печального своего житьишка, от палаток, шпицрутенов и муштры, от отцов-командиров...

Что он? Как он?

Уснул или мучился? Боялся или нет? А может быть, выкатилась из глаза одна-единственная мутная солдатская слеза да и пропала в усах, за все невзгоды и обиды, за все страшное солдатское одиночество, за розги, за муштру, за самое собачью смерть на вонючей соломе, за ту жизнь, в которой нечего вспомнить, не на что порадоваться.

И вот он в стране, в которой несть ни печали, ни воздыхания, а здесь лежат жалкие останки, вздор, чепуха, но тем не менее жизнь его продолжается: до сих пор пишет на Тишку господин Лоссиевский то красное вино, которое так бы пригодилось Тишке при жизни и которого он так и не отведал, до сих пор пьет Тишка чай с сахаром сколько захочет, ест жирную кашу с чухонским маслом.

Вечная жизнь.

Нет-с, извините, благодарим покорно, много довольны вашей милостью.

От усталости у него кружилась голова, и, кроме того, мучила жажда – хотелось пить. Возле черной на куске гранита от постройки

сидел Ефимыч, пил чай и закусывал казенным липким хлебом, круто посыпанным серой солью. Пирогов с завистью на него взглянул. Тот перехватил жадный взгляд своего профессора, ополоснул кружку и принес еще хлеба, соли, кипятку в щербатом пиняном горшке и щепотку чаю.

– Ах, и спасибо тебе, Ефимыч, – сказал Пирогов, принимая из рук сторожа огромную кружку.

Старик уступил ему свое место, он сел и с наслаждением начал отхлебывать чай, сдувая чайники, плавающие на поверхности.

– Вы бы хлебца, ваше превосходительство, – молвил Ефимыч и подал Пирогову толсто отрезанный ломоть, – все не пустой чай.

Пирогов взял и хлеба. Солнце вошло уже высоко и хорошо припекало, в шинели теперь было жарко, да и чай как следует прогревал изнутри.

– Чегой-то у вас из кармана торчит? – спросил вдруг Ефимыч.

Пирогов оглядел себя. Из наружного кармана шинели торчала заячья лапка – рукоятка казацкой нагайки, о которой он совсем забыл. На мгновение ему стало смешно – справишься тут с одной нагайкой, как же!

– Это, брат Ефимыч, у меня нагайка, – сказал он, – для хороших людей припасена.

Ефимыч усмехнулся и ничего не ответил. Он слишком хорошо знал Пирогова, для того чтобы понять – шутит господин профессор.

От горячего чаю и от хлеба с солью Пирогову стало как-то легче. Голова больше не кружилась, мысли сделались поспокойнее, теперь он смог приказать самому себе – ничему больше не удивляться и ничем не возмущаться. Да и тихий Ефимыч со своими старыми почтительно-умными глазами действовал на него успокаивающе. Но все-таки он ничего не сказал ему, чтобы не оказаться смешным со своими открытиями, велел открыть кабинет, вытянулся на кушетке и заснул в одно мгновение тяжелым сном совершенно измученного человека.

В первом часу дня ему сказали, что Буцефал прибыл, и находится в своем кабинете в госпитале. Пирогов только что кончил визитации. Студенты пятого курса густо гудели в коридоре, обсуждая то, что только что слышали от него; он видел слезы на глазах у некоторых, видел, как горят лица у других, – такие лекции доводилось слышать

не часто даже от Пирогова. Для того чтобы не записывали, он говорил не в аудитории и не в анатомическом, а здесь же в госпитале, над постелью солдата-улана, потерянном голосом бредившего насчет каких-то пропавших сапог. Улан был когда-то молодец молодцом, но полковой лекарь залечил его до положения совершенно безнадежного, и теперь улан помирал в сухопутном так же, как помер в свое время Тишка, ставший отныне для Пирогова символом солдатской судьбы. И речь свою он неожиданно для себя и для студентов посвятил нынче этой солдатской судьбе и роли военного медика в облегчении страданий русского воина, положившего живот свой за честь и славу русского оружия. Никаких потрясений основ в его речи, разумеется, не было, но картина, нарисованная им, выглядела так страшно, что многие, слушая его, плакали, многие давали себе клятвы не забыть те слова, что слушали сейчас, многие с состраданием и скорбью смотрели на улана – затем, чтобы на всю жизнь запомнить его, унести это лицо с собой, не забыть никогда.

Пирогов говорил негромким, слегка дребезжащим голосом, порою пришепывая от волнения. Он никогда не был оратором в полном значении этого слова и не знал, что такое говорить красиво или трогательно. Говорил он всегда просто, очень коротко и только самое необходимое из того, что считал нужным сказать. На отвлеченные же темы говорить избегал вообще, боясь, что осрамится. Но тут как-то так вышло, что говорил он совсем иначе, чем на темы научные. Косые глаза его вдруг заблестали странным огнем. Тонкая кожа покрылась красными пятнами. Бледное лицо, обрамленное рыжими бачками, приняло новое для него, невиданное еще студентами выражение одержимости. Щеку дергало; несколько раз он пустил петуха, но, удивительное дело, это только усилило впечатление от его речи. Левую руку держал он за спиной, правой облакачивался на изножье кровати улана и говорил будто бы ему, а не им. Только иногда рывком вздергивал голову и обводил горящими, немигающими глазами лица своих слушателей.

– Господа мои, – говорил он, – ненавистно мне не только любомудрие, но и в равной мере пустословие, прекраснодушные мысли и рассуждения на высокие темы, коли нет за всем этим твердого решения и понимания поступать только так, а не иначе. Господа студенты! Молодость великодушна, порывиста, отзывчива,

полна благородных мечтаний и дерзостных идей. Но только годами исчисляется наша молодость. Наступает затем зрелость, и на место отзывчивого великодушия приходит метода рассуждения, взвешивания на граммы и унции, прикидывания по образцу портняжьему, та метода, в которой нет места ни дерзким идеям, ни мечтаниям. Что ж, такова жизнь. За зрелостью наступает старость со своей опять иной методой, заключающейся лишь в себялюбии и черством эгоизме. Смешны мечтания об эту пору. Смешны великодушные порывы. И не к ним я призываю вас, господа мои! Призываю я вас только к честности в исполнении долга вашего, обязанностей ваших, дела вашего. Вам вверено самое большее, что дано человеку, – его жизнь. Будьте же, как судьи, нелицеприятны. Со священной строгостью относитесь к обязанностям своим. Смерти тот заслуживает из нас, кто осмелится из вот эдакого страдальца сделать доход для пропитания живота своего. Возьмите камни и побейте такого камнями, – нет ему прощения. Возьмите кнут и прогоните его прочь из храма нашего, – забудьте о милосердии, как он забыл. Лютого остракизма достоин такой продавший и предавший суть дела всей своей жизни. Нет ему прощения, ради чего бы он ни поступил так. Ибо перед вашими глазами лежит следствие изложенной мною причины. С самой простой потертости на ноге в походе началось дело. Пошел он к подлекарю, но подлекарь, торгующий в храме, чтобы поручик, храни бог, не осердился, велел в строй идти и дурака не ломать. Пошел солдат назад в строй. Что дальше говорить, – вы все знаете. Подлекарь не поверил, а когда лекарь поверил – лечить не стал. Измышлял доходишки для своих животишек, – на губернский город он всего один, некогда ему заниматься солдатом. И начал солдат гнить заживо. И не только что его не лечили, но рационешко назначенный уворовывали, жалкий рационешко солдатом тащили по частям и таким способом последнее, что оставалось у солдата – натуру его, которая одна боролась со смертельным недугом, – натуру лишили последней поддержки. Вот он теперь перед вами, господа мои. Ничем мы не можем помочь ему, но таким другим можем и должны, и подло будет, коли не положим все силы наши для этого назначения. Я кончил, господа.

Не глядя на студентов, точно их и не было в этой комнате, предназначенной для умирающих, он сел на кровать к улану и омочил

ему губы кислой клюквенной водой. Сухим жаром горело лицо солдата, уже тронутое синеватыми гангренозными пятнами. Несколько секунд неподвижно Пирогов глядел на него, держа пальцы на пульсе. Потом велел всем выходить, крикнул служителей и приказал звать попа. Проходя коридор, наклонил голову: в косых его глазах было жесткое, неумолимое, но и скорбное выражение.

Во дворе под пекущим майским солнцем он постоял немного, чтобы прийти в себя и не наболтать лишнего Буцефалу. Но едва только он обтер лысину платком и огляделся, как сильный шум и крики у госпитальной поварни привлекли его внимание. Довольно изрядная толпа людей суежилась возле гнилого крыльца, потом вся толпа двинулась в сторону Пирогова, раздался собачий лай, дикое гиканье, вопли и визг. Через несколько секунд он понял, что происходило: каждый год кухонный смотритель Пеленашин выводил таким способом тараканов из своей вонючей кухни.

С воем и визгом толпа пронеслась мимо Пирогова: седобородый, почтенного вида Пеленашин волок за веревку лапоть, полный тараканами, – тараканов в лапте было по числу больных в госпитале вместе со всем госпитальным персоналом. В лапоть полагалось плевать, и не только плевать, но и производить еще некоторые действия, что некоторые из толпы с восторгом и выполняли; кроме того, полагалось выгоняемого таракана всячески порочить и бесчестить словами, поэтому воздух сотрясался от брани, самой изысканной и утонченной, у кого же фантазии больше не хватало, тот просто визжал и вопил. Бешено лаяли госпитальные собаки-попрошайки, одна из них все пыталась укусить лапоть, ее пинали ногами, она визжала и снова кидалась на лапоть. Лица у людей были почти безумные, но более других показался Пирогову страшным сам кухонный смотритель: почтеннейший человек, хоть и вор, конечно, но уж старый, с брюхом, – и вдруг бежит, волоча лапоть, глаза вытаращены, голос хриплый, потерянный, а вокруг пыль столбом, вой, визг.

Сощурив косые глаза, сжав челюсти, он глядел им вслед, как перетаскивали они лапоть через дорогу и как принялись хоронить своих тараканов, приплясывая и завывая. Смотрел и не слышал, как подошел

к нему Буяльский, – оглянулся только тогда, когда тот взял его под локоть.

– Своеобычное занятие простого люда, – произнес Буяльский, любивший выражаться туманно. – Здравствуйте, дражайший Николай Иванович.

Он был свеж, как юноша, этот отвратительный старик, сделавший свою карьеру тем, что бальзамировал коронованных и титулованных особ, и несколько испортивший эту карьеру тем, что последняя особа, набальзамированная им, внезапно взяла да и провонялась. Обстоятельство это Буяльский от всех скрывал, но все знали, и теперь он с собачьей ласковостью заглядывал каждому в глаза – искал, известно собеседнику или неизвестно. Пирогову было известно, и он со своим проклятым характером не удержался. Да и вообще весь сегодняшний день он как-то не отвечал сам за себя и за свои слова: злая сила несла его куда хотела.

– Что это я слышал, – произнес он с дребезжанием в голосе, – у вас будто бы история?

Он был первый, кто сказал об этом властному и злому старику. Даже от Пирогова, злейшего своего врага, не ждал он такого прямого злорадства, – Досадно-с, – молвил Пирогов, совсем скашивая глаза, – я слышал, вы уже были представлены.

Он не мог себе отказать в этом удовольствии, – вся академия знала о том, как хочет Буяльский получить Владимира. А тут вдруг особа взяла да и провонялась вопреки науке и здравому смыслу.

– Превыше всего для меня... – начал Буяльский, но Пирогов не слышал его слов.

«Кто сеет ветер, – думал он, – пожнет бурю. Ничего. Полно, Николай Иванович, валять дурака. Либо прочь отсюда навсегда, либо генеральное сражение всякому подлецу. Договори только, я тебя сейчас так прижму...»

От старика пахло лавандой – он любил себя, этот человек, знающий придворный этикет куда лучше своего дела. Они шли рука об руку, и он все объяснял Пирогову, почему провонялась особа.

– Непостижимо, – говорил он своим бархатным, дворцово-лакейским голосом, – уму непостижимо. В четырнадцатом году я бальзамировал кузину короля Людовика, герцогиню де Ла-Тарант, прекрасно. Давеча интересовался и получил письмо, – по сей день

легкий ароматический дух, и ничего более. Опять же ее величество императрица, сами знаете, какого труда стоило при их сложении произвести бальзамирование в хорошем порядке. Тоже все преотлично получилось. Княгиня, цесарева супруга, совершенно как живая лежала на одре, – верите ли, сам после работ взглянул и чуть не зарыдал: как ребенок – живая, ангел. А тут после всего моего опыта на старости годов...

– Может быть, подрядчик не ту начинку подсунул? – спросил Пирогов. – Нынче по нашему ведомству сильно воруют.

– Вздор-с, – ответил Буяльский, – у меня не уворуешь.

И стал говорить о своем сочинении насчет пятисот семи желчных камней, найденных им при бальзамировании дюшессы Тарантской. Пирогов не слушал, потом сказал вдруг:

– Кстати, чтобы не забыть. У вас, Илья Васильевич, на дому, как мне известно, имеется наш микроскоп из академии. Вы уж извольте его вернуть, он для дела нужен.

Буяльский ответил не сразу: краска кинулась ему в лицо, пока он надумывал, что ответить. Не надумал и бессмысленно ответил:

– Не упомяну, о чем вы говорите.

– О микроскопе, пожертвованном для студентов академии великим князем, – громко, с брезгливой ненавистью в голосе заговорил Пирогов. – Этот микроскоп уже более десяти лет у вас на дому, а служащие не смеют спросить. Так вот-с я спрашиваю и прошу вернуть, потому что по моей кафедре микроскоп совершенно необходим. Он у нас числится, через это мы не можем новый купить, президент не разрешает. Есть у вас наш микроскоп?

Оба они остановились. Лицо Буяльского покраснело все более.

– Прощайте-с, – сказал Пирогов, – и прошу вас убедительно – не задержав, верните аппарат. Вещь казенная, нужная.

Мгновенно только ему свойственная улыбка осветила черты его лица. Он повернулся и исчез в дверях госпитальной канцелярии. Странное возбуждение все еще не покидало его: сердце со звоном гнало по телу кровь, щеки горели, висок покалывало. «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю, – подумал он во второй раз. – А быть может, и не бурю, а саму смерть». Все могло случиться, если всерьез бросить перчатку Буцефалу. Почему-то вспомнилась ему только что виденная

картина изгнания тараканов из поварни: как выли, как визжали! И белой сильной рукою он потянул к себе ручку двери.

Лоссиевский, которого в госпитале за огромную его голову называли Буцефалом, сидел за просторным своим письменным столом и, как всегда, делал вид, прикидывался, что занят и что занимается. Он был в мундире и при двух своих орденочках, которых никогда не снимал и один из которых уже порядочно из-за этого поизносился. Лицо Буцефала выражало мутное и тупое равнодушие, но вместе с тем и некоторое усердие. Пирогов видел, что Буцефал вовсе не так уже погружен в свои занятия, чтобы не заметить его прихода, и, выждав секунду, громко и властно произнес:

– Милостивый государь, я старше вас в чине и прошу замечать меня, когда я нахожу нужным посещать контору.

Никогда в своей жизни он не произносил еще ничего подобного. Но теперь он с наслаждением выговорил эту фразу. От бешенства и ненависти он ничего не видел; он не сразу заметил даже, как вскочил Лоссиевский и как вытянулся перед ним. Ступая на пятки, Пирогов медленно подвигался к столу и, совершенно теряя власть над собой, кричал бешеным фальцетом:

– Вы что же это, сударь, изволите делать? Вы, штаб-лекарь, смеете сами быть главным вором по вверенному вам госпиталю. Молчать, смиренно передо мной, иначе я вас сейчас же в вашей воровской конторе изобью нагайкой. Я все знаю, и не смею мне отвечать, Вы... вы... изволите гробы воровать, рацион солдата..., вы...

Ничего не видя перед собой, кроме смутной тени Буцефала, и понимая, что его можно ударить, стоит только обойти стол, он пошел вокруг стола, но Лоссиевский стал отступать, пятась и издавая какие-то невнятные, хлюпающие звуки. Неизвестно, чем бы это все кончилось, не опрокинь Пирогов вдруг кувшин с ледяным квасом, стоявший на маленьком столике. Огромный кувшин со звоном разлетелся на части. Пирогов вздрогнул и остановился. Челюсти его дрожали, щеку дергало. Несколько мгновений длилось молчание, нарушаемое только хлюпаньем Буцефала.

– Обнесли, – вдруг сказал он, – оклеветали. Честью клянусь, чист и невиновен. Ваше превосходительство.

– Я не превосходительство, – крикнул Пирогов, – не смею!

Он сел и сжал голову руками. «Умереть бы, – с жадностью подумал он, – да, да, умереть».

Буцефал хлюпал и бормотал над его ухом. Его обнесли, на него нагнали, он чист и ни в чем не виноват. Наконец Пирогов поднял голову и осипшим от крика голосом сказал:

– Больше это невозможно. Я не мальчик и знаю, что господа, подобные вам, от всякого суда откупятся, только потому не начинаю дела. С нынешнего дня извольте знать: ежели что замечу – будет вам, сударь, плохо. Буду бить нагайкой. Не позволю обкрадывать больного солдата.

Он говорил вяло, уже понимая, что вся эта затея ни к чему не приведет. Страшная тоска давила его сердце.

От давешнего возбуждения не осталось и следа. Теперь опять врал свое Лоссиевский. Такого не переговоришь. Его можно только отстегать, да и то не поможет. Подняв голову, Пирогов смотрел, как двигается рот Лоссиевского, как с наглой почтительностью смотрят его влажные глазки, какое у него сытое, круглое брюхо, как шевелит он короткими мохнатыми пальцами. И эти толстые, приросшие мочками к черепу уши, этот подбородок с сытым выражением.

Дверь отворилась – вошел Шипулинский. Разговор кончился сам собой. Это тоже был его враг, смертельный враг, и враг был другом Буцефалу. Они пожали друг другу руки с приятнейшим выражением. Пирогов издали поклонился. Шипулинский ответил также издали, снял очки, протер стекла и сел в кресло. Этот тоже был Буцефал, и Буяльский – Буцефал, и Наранович, и Соломон, и Палехин, и Загорский – безграмотные, тупые, сытые, получившие кафедры по родству да по дружбе, ненавидящие его, клеветники, доносчики. И он один против них.

На мгновение ему стало страшно: «Съедят, съедят живьем». Сговорятся друг с другом вот так же, как сейчас сговариваются там, в другом углу комнаты, и с приятнейшими лицами, деликатно улыбаясь, приступят, да что приступят, уже, наверное, приступили. О, эти все могут, любой донос, любую клевету, – они ни перед чем не остановятся.

Ну что ж. Он ведь тоже обладает некоторым характером. Его, пожалуй, не так уж и просто съесть. А выгода одна: теперь все-таки

Лоссиевский хоть на время не так станет воровать – страшновато покажется после случившегося давеча происшествия.

И, поднявшись, он сказал, ища глазами влажные от сердечности беседы с Шипулинским глазки Лоссиевского:

– Итак, господин Лоссиевский, прошу вас запомнить то, о чем мы имели разговор. Льщу себя надеждой, что ничего подобного теперь не произойдет. Надеюсь разговор наш не возобновлять.

Поклонился обоим и вышел.

Его знобило. Попить бы чаю – и в постель.

Но ни чаю он не попил и в постель не лег. Он остался в госпитале среди тех, ради которых бросил перчатку Буцефалу. Он не был ни лечащим врачом, ни ординатором, и все-таки проводил часы среди больных. Но сегодня он остался на весь день поверять рационы, смотреть за перевязками, за чистотой в палатах. Дежурный лекарь Балинский, только что переведенный из Кронштадта молодой человек, с робким восторгом смотрел на знаменитого Пирогова, заикаясь, отвечал на его вопросы, уронил и разбил склянку, когда Пирогов велел подать ему капли. Все было необычно в этом рыжем и лысом человеке, все было прекрасно, непостижимо, величественно – и нечистый сюртук, и узловатые, белые, сильные руки, и подкупающе бесшабашная улыбка, и внезапный бешеный блеск свинцовых зрачков узких косоватых глаз.

Вдвоем они ходили из палаты в палату. Уже смеркалось. Белая ночь наступила, а они все ходили. Коптили в палатах масляные лампы. Оханье и стоны неслись с коек. По коридорам несло из ретирадных мест. В палате для умирающих слабым, потеряннным голосом бредил бог ведает какими путями попавший сюда пластун. Пирогов сел на кровать пластуна и наклонился над ним. Падающим, гортанным шепотом казак звал кого-то. Пирогов наклонился еще ниже. Балинский стоял рядом, держа сальную свечу в высоко поднятой руке. Теперь Пирогов почти прижался щекой к умирающему. Пластун звал отца. «Батько мой, батько», – услышал Пирогов. Он оторвался от пластуна и прямо сел на кровати. На всю жизнь запомнил Балинский то, что произошло перед ним.

– Я твой батько, – с силой и страстью сказал Пирогов, сверкающим и лучистым взглядом глядя в лицо умирающего. – Здесь я, подле тебя, – почти крикнул он. – Гляди, сын, вот я, твой батько.

Свеча в руке Балинского дрогнула: на это почти невозможно было смотреть.

Медленно, с трудом открылись глаза умирающего. Голубые и мутные, они ничего уже не видели, подернутые смертной пеленою.

Но они точно искали, и белое лицо точно напряглось в ожидании смутного и таинственного чуда. И чудо совершилось.

– Здесь я! – крикнул Пирогов. – Тут я, сыночек мой милый, вот я перед тобой. Видишь меня? Да вот же, вот.

И, схватив руку умирающего своей сильной и белой рукой, он стал водить ею по себе – по своему сюртуку, по подбородку, по воротничкам.

– Вот я, – говорил он, – вот, видишь, вот.

Наклонился к дрогнувшему лицу солдата и поцеловал его в щеку, потом в переносицу, потом опять в щеку. Лицо его сделалось таким же белым, как лицо пластуна, в глазах дрожали слезы.

Теперь он сидел на постели, в изножье, держал руку умирающего в своей и мокрыми глазами смотрел в умиротворенно-спокойное лицо пластуна. На серых губах солдата еще дрожало подобие улыбки. Но вот что-то последний раз пронеслось в его лице и исчезло: что-то легкое, едва уловимое – последний отблеск жизни. Пронеслось оно – и все было кончено.

– Кончено, – сказал Пирогов, – проводили.

Положил руку солдата и поднялся. До дежурки шли молча. В дежурке Пирогов сел на клеенчатый диван и сказал:

– Послушайте, ваше благородие, напоили бы вы меня чаем, мочи больше нет, устал.

За чаем задумчиво смотрел на огонек свечи и негромко говорил:

– Здешнего Лоссиевского зовут Буцефал, что, как вам известно, означает по-гречески бычью голову. Такое клеймо выжигали в виде тавра на крупах фессалийских коней. Тут они почти что все – бычьи головы, это вы имейте в виду, ваше благородие, не зевайте, вмиг слопают. Да, так к чему это я? Ах, вот к чему, вспомнил, Буцефалом звали также коня Александра Великого, небось слышали, что был такой?

– Слышал, Николай Иванович, – робко сказал лекарь.

– Надеюсь. Так вот, – продолжал Пирогов, – конь этот был вначале совершенно необъезжен, и никто к нему не решался подойти. Не то он кусался, не то брыкался, аллах его ведает, но все трусили. Все, кроме, разумеется, Александра, который не струсил, а взобрался и поехал. Ну-с, поехал. Папенька его увидел такое событие и сказал ему растроганным голосом: «Ищи себе другого царства, сын мой,

Македония слишком мала для тебя». Слышали такую историйку, ваше благородие?

– Нет, не слышал, – заливаясь пунцовой краской, молвил Балинский, – как-то не приходилось, Николай Иванович.

Пирогов молчал, щурясь на свечу. Потом сказал:

– Ошибочно папенька Александра рассудил. Неправильно. Ежели бы на меня, то я бы иначе распорядился. Я бы приказал, коли он Буцефала вышколил, как раз в Македонии оставаться, не правда ли?

Балинский совсем покраснел. Он ничего не понял из того, что говорил Пирогов, и, преглупо себя чувствуя, сказал, что да, это верно-с.

Они попрощались под утро. Пирогов с нежностью смотрел на Балинского. Здесь же, в сенях госпиталя, он посоветовал ему идти к Мяновскому в адъютанты.

– А этих не бойтесь, – сказал он. – Если вы их испугаетесь – станете либо подлецом, либо ничтожеством. Тут шутить нечем. Прощайте, ваше благородие. Лаврентьеву, что в шестой лежит, поутру вкатите хороший с маслом клистир, это поможет. И за рационами следите.

Не надевая шляпы, он медленно пошел по двору академии. Еще долго Балинский стоял в дверях, глядел ему вслед и думал о том, как он завтра расскажет матери о том, с кем ему сегодня довелось так близко познакомиться. Лицо его горело. Он вынул из кармана трубочку, покурил и вернулся в госпиталь. Все было тихо в палатах, кроме одной, в которой разговаривали. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к полуприкрытой двери и послушал. Сиповатый солдатский голос, несколько окающий, рассказывал сказку, героем которой был Пирогов.

– И вот, братцы мои, – говорил солдат, – открывается дверь, и заходит в ту фатеру не кто иначе, как сам Николай Иванович. Увидел он такое происходящее и давай по-русски, как надо, до него обращаться. «Ты, говорит, что?» И зачал: «Ты, говорит, как?» И еще его. Ну, тот видит – плохо дело: «Забирай, говорит, назад ногу, как-нибудь я и без одной проживу, на деревяшечке». Николай Иванович, конечно, сейчас свистнул: «Подайте мне пилу мою вострую и нож мой медицинский самый наилучший, я сейчас у генерала незаконную его ногу оттяпаю и назад солдатушке моему дорогому пришью.

Снимай, говорит, генерал, штаны, да поторапливайся, у меня нынче делов по плотку». Плачет генерал в голос, жалко ногу, уж привык к ней, даром что краденая.

– А что ты думаешь, – сказал тонкий и печальный голос, – еще как жалко-то. Вон мне отрезали, так я...

Но на него зашикали, и он смолк.

– Голосит, значит, голосит генерал, – продолжал рассказчик, – только Николаю-то Иванычу надоело слушать, он и сказал генералу, что сейчас ему не то что ногу, а...

Тут рассказчик произнес такое, от чего вся палата дружно заржала, и Балинский за дверью тоже улыбнулся.

– Жалко небось, – слышались голоса.

– Это еще похуже.

– Какой же он генерал апосля такого дела.

– Беда, ей-богу...

Рассказчик вновь заговорил. Как все сказки, и эта тоже кончалась торжеством добродетели. Генералу, укравшему солдатскую ногу, Пирогов наново отрезал ее и подарил сосновую деревяшку. А горемыке солдату ногу пришил назад и, кроме того, подарил денег на пропой души – пять рублей.

Эту ночь Пирогов спал крепко и спокойно, без снов и кошмаров. Проснулся он с легким сердцем, отдохнувший и бодрый, быстро дошел до академии, пересек двор и в узких сенях канцелярии столкнулся со стариком Буяльским. Старик, увидев его, отвел глаза и не поздоровался.

Ему сделалось смешно.

Шипулинский с ним тоже не поздоровался.

Но микроскоп стоял на столе у прозектора. Это был отличнейший микроскоп – чистое золото для черной анатомии. Маленькая победа, совсем маленькая, но сколько радости доставила она ему...

В перерыве между лекциями он встретил Лоссиевского. Этот был слишком труслив, чтобы не поздороваться. Пирогов остановил его и сказал:

– Я на сегодня выписываю всему моему отделению слабые порции. Не посчитайте за труд выполнить мое требование без всяких изменений.

Влажные глаза Буцефала выразили бешенство.

– Хорошо-с, – молвил он, – только я доложу-с по начальству.

– Докладывайте, – ответил Пирогов, – но если уворуете хоть унцию – поколочу палкой...

И ушел.

Когда раздавали обед, Пирогов ходил по палатам, пробовал, смотрел, посмеивался. И чувствовал на себе взгляды солдат. Настроение у него опять было приподнятое, веселое, и чувствовал он себя сильным и злым, способным на многое – и хорошее и дурное.

Примечания

1

Вторая часть дилогии «Начало» – «Буцефал».

notes

Note 1

1